

Григорий Померанц

Почва внутри нас

Разговор о почве, начатый Достоевским и Аполлоном Григорьевым и продолжающийся поныне (такие затянувшиеся разговоры, ставшие структурой и традицией, называют теперь «дискурс»), – этот разговор коренился в сознании Достоевского, в его споре с самим собой, с тем поворотом его ума, который вышел наружу в «Записках из подполья» и в «Сне смешного человека». «Я развратил их всех» – говорит, устами смешного человека, рассудок, вторгаясь в те области, которые душа объявила запретными, но не в силах надежно защитить. Рассудок пытается насильем овладеть тайной целого, отдающегося только любви, как в словах из письма Фонвизиной 1854 г. – «я предпочел бы оставаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Логика мучает Достоевского, продолжая пытку, которой подвергались мистики с первых веков после Р.Х. и на которую Тертуллиан ответил яростным «...absurdum est».

Рационализм, вошедший в плоть и кровь европейского Просвещения, мучает Достоевского, и он ищет противовеса в «почве». Но что такое «почва»? Это вера народа, еще не тронутого Просвещением. Таков первый, ближайший смысл. Это вера во все, чему учит православная церковь, не подменившая схоластикой святоотеческие парадоксы. Но что будет, если весь народ просветится? Этот вопрос задается в черновиках к «Бесам», и Достоевский отвечает себе, что тогда вся риторика почвенничества сводится к нулю. А затем оставляет все рассуждение в черновом тексте, не выносит на суд публики. Почему?

Я думаю, что Достоевский не знал нужного ответа на логическом уровне, не знал в форме, которая годилась для журнальной полемики. Но в глубине души он находил ответ – и не решался высказать его, боялся

«унизить идею»; а может быть, недостаточно верил в нее, не во все минуты верил... Надо обладать очень большим мужеством, чтобы рассказывать открыто, всенародно, о своем переживании присутствия Христа, как Антоний Блум, и спокойно прибавить: можете считать это галлюцинацией. Ответ Достоевского оставался тайной его черновиков: «совесть – действие Бога в человеческой душе». Логику Раскольникова опровергает Соня – мимо логики – с помощью незримого действия Бога. Искусство Достоевского опирается именно на эту, внутреннюю почву, на ту глубину, о которой впоследствии сказал Антоний Блум: «каждый грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной» (глубиной сердца, намного большей, чем уровень глубинной психологии: той глубокой, где исчезает эго и остается только любовь и скорбь). Искусство Достоевского не доказывает, а заражает верой в реальность глубинного, оно не опровергает великие идеи, ведущие к великим преступлениям, а просто погружает их в глубь, и они исчезают в ней, плавятся в жаре сердца.

Но что делать с почвой в первом смысле слова, с превосходством народа, с народной верой? В яростной полемике Шатова Бог и народ сливаются и у каждого народа оказывается свой бог. Но это не Бог Авраама, Исаака и Иакова, а нечто колеблющееся между языческим кумиром и абстрактным принципом; а принцип почвы тоже вел к преступлениям. Например, лозунг Blut und Boden, кровь и почва в Германии. Любая идея, ставшая обязательной, ведущей, единственной, способна погубить культуру. Эта мысль, высказанная Музилом во время второй мировой войны, до сих пор, к сожалению, не устарела. Любая идея, вырвавшаяся из гомеостаза культуры, из великого равновесия целого, становится раковой опухолью и ведет организм к смерти – если не иссечь пораженную ткань.

Поэтому Антоний Сурожский, выступая в Париже, в 1974 г., звал христиан не следовать никаким принципам, в том числе богословским, а

искать Божий след (так он выражался) и идти по Божьему следу. (Русский перевод выступления Антония – в «Континенте» № 89, 1996 г.) Поэтому Василий Гроссман, не читавший Антония (как и Антоний не мог тогда прочесть «Жизни и судьбы») ведет очень сходный разговор в «Записке Иконникова»: нет счета преступлениям, совершенным во имя идеи добра, всеобщего блага, счастья человечества, счастья народа, истинной веры, иконопочитания и т.п. Никакие изверги, садисты, преступники всех видов не сотворили столько зла; и спасает Иконникова от отчаянья только то, что он называет дурьей добротой (по большей части женской), очень близкой к доброте Сони Мармеладовой. То есть – обращение к действию Бога в человеческой душе. То есть – к чувству Божьего следа. Не запутанного никакими идеями – или внезапно освободившегося от их власти (как Раскольников освобождал луч заходящего солнца).

С чего начинали ранние христиане? На что они опирались? На народ? Но народы были убеждены, что христиане похищали римского младенца, закалывали его, а затем пожирали сырым и предавались свальному греху. Иначе зачем они устраивают свои радения тайно, в катакомбах? Апологет II в., автор диалога «Октавий», добросовестно пересказывает кровавый навет, в который верили народы, и затем решительно противопоставляет свою веру всенародному изуверству. Авторитет народов для него ничто. «Для христианина всякое отечество – чужбина и всякая чужбина – отечество», – пишет апологет, и это общий дух раннего христианства. Его опора – живая передача интенсивного религиозного опыта, доверие одному против всех и против самого разума древней цивилизации.

На что опирался Антоний Блум, оказавшийся в Англии? Несколько десятков эмигрантов, остававшихся там, ждали опоры от него самого. И они получали в нем эту опору. Обаяние живой «встречи», которую Антоний исповедовал, стало магнитом, вокруг которого собралась целая епархия, состоявшая главным образом из англичан.

На что опирался князь Мышкин в Швейцарии? На водопад, помогавший ему бороться со своей болезнью, на упорство созерцания, а выздоровев – на швейцарских детей. Где он погиб? В России, которую вымечтал себе и которая буквально разорвала его на части (если не физически, то психически). Почему же во все переломные эпохи постсталинской России театр и кино обращаются к князю Мышкину? Что они в нем ищут – после свержения кумира на XX съезде и после провала перестройки? Почему так звучали в устах Смоктуновского слова Мышкина: «добра ли она»? Почему в нем ищут эталон добра среди нравственного хаоса?

Недавний сериал сделан наскоро, удались только сцены, где готовый сценарий оставалось только выписать со страниц романа. Дальше первой части Пырьев когда-то не пошел, почувствовал трудность и отступил – а современные постановщики пошли и потеряли Мышкина в суете, отодвинули его в тень генерала, укравшего бумажник, в тень Лизаветы Прокофьевны и т.п. Но я не буду разбирать неудачи; их можно извинить трудностью текста и краткостью сроков, поставленных министерством, решившим, наконец, бороться с эстетикой бандитской шайки. Достоевский был болен, в период работы над романом перенес тяжелый припадок, многое забыл, многое с трудом вспомнил. Целостная экранизация «Идиота» – задача нелегкая, она требует долгих предварительных размышлений, долгого выявления мышкинского в Мышкине, когда он оказывается на втором месте или почти что у позорного столба. В таких случаях надо бы вспомнить Халила Джибрана: «... и побежденный он знал, что он победитель», дать хоть тень этой внутренней победы. Иными словами, надо было долго и серьезно думать, почему неудачник оказался нужен культуре? Почему он оказался победителем в сердцах читателей?

Нетрудно доказать, что Мышкин, попав из швейцарского одиночества в столичную суету, запутался и погиб, ничего доброго не выполнив. Религиозные филологи это прекрасно сделали и осудили

неудачу Достоевского, который сам как будто ее исправил в Алеше Карамазове. Но почему неудача захватывает сердца больше удачи? Я не оспариваю, что Алеша Карамазов – удача. Именно эстетическая победа неудачи над удачей – моя проблема. Когда-то я посвятил целый эссе философии неудачи, но не буду его повторять и не буду ссылаться на Екатерина Федоровну Колышкину, в замужестве баронессы де Гук, а потом Дохерти, писавшую, что и Христос, с обыденной точки зрения, неудачник. Чего он добился, креста? Куда он привел учеников – на крест?

Я думаю, что в нашу запутанную эпоху одна только духовная нищета, не зная ничего, знает главное, знает смысл целого. И это объясняет, может быть, почему тени духовно нищих, подвергшиеся преследованию на своей родине, нашли политическое убежище в Голливуде. Почему Джон Кофи, негр-чедотворец из фильма «Зеленая миля», говорит слова, которые мог бы сказать Мышкин: «я многое знаю... хотя я ничего не знаю». И откуда это сходство чудесной пронизательности Кофи и Мышкина при незнании элементарных фактов жизни?

Оставаясь в рамках реалистической картины мира, можно сказать, что раскованность глубинных слоев мозга может быть следствием заторможенности других, более поверхностных, активных в логической работе мысли. анализирующей и связывающей атомарные факты. Больной мозг может быть обращен к целостности мира именно потому, что он не замечает частных, проходит мимо них и не запутывается в них. А дальше начинается художественная гипербола. Художник гиперболизирует возможности мудрого безумца до порога сказки (у Достоевского) или пересекая этот порог (в американском кино).

Правда, Мышкин стоит несколько особняком. В месяцы своего просветления он заставляет устыдиться собеседников, считающих его идиотом. Аглая правильно говорит, что ум его – «главный ум», в противоположность уму статистически среднего человека, нацеленного на овладение частностями. Но в конце концов, это только проблеск. Слишком

крутой перевес «главного ума» делает человека неустойчивым, уязвимым, не приспособленным к жизни на поверхности бытия, не способным вынести ее ударов. Поэтому равновесие Мышкина в первых главах, когда он, с обыденной точки зрения, странен, но не безумен, очень неустойчиво, может в любой момент обрушиться в припадке и в конце концов рушится вовсе.

Все это позволяет рассматривать Соню, Марью Тимофеевну, Мышкина, Джона Кофи и Фореста Гампа как одну группу. У Сони тоже есть главный ум (хоть и слабый), Марья Тимофеевна тоже блещет прозрениями. С другой стороны, образ России, сложившийся в уме Мышкина в швейцарской дали, не ближе к реальной России, чем князь Марья Тимофеевны – к Ставрогину. Безумие переплетается с мудростью, мудрость с безумием.

Почему это увлекло весь мир, от Израиля до Японии? Почва, за которую ратовал Шатов, осталась достоянием кружка почвенников. Мир откликнулся на поиски почвы в глубине сердца, открытие глубинных пластов, где царят любовь и скорбь, где свет во тьме светит и тьма не объемлет его. Как идея – это не ново. Уже для Николая Кузанского выход был найден в ученом незнании всей сложности мира, в отодвигании всей сложности в тень. Но искусство Достоевского и его отголоски проповедуют не идею, а живую жизнь, окруженную бурями, страстей, страдающую и гибнущую. Оно захватывает нас, как Мышкина, бегущего за уносящейся тройкой. Рогожина.

Современный мир еще больше, чем XIX век, верит в логику и еще больше стонет от нее (как математик и романист Александр Мелихов). Точные методы кажутся лучшим способом решения любого вопроса. Никто не вспоминает урок Нагарджуны, показавшего, что любое логическое предложение – ложь по отношению к целому, рассекая живое целое на субъект и предикат и затем связывают мертвые обрубки мертвым «есть». Точность – функция логически корректных операций с мертвыми

объектами мысли, с атомарными фактами, отрезанными от живой бесконечности. Ничего нельзя точно сказать о бытии, открытом бесконечности, о личности, открытой бесконечности в глубинах своего сердца. Четыреста лет пишут о Гамлете – и ничего точного мы не узнали. Хайдеггер, в статье «Время картины мира», писал, что сама точность и честность мысли заставляет признать, что в гуманитарной области точные методы неприменимы (или, если осторожнее высказать эту мысль, точность возможна во вспомогательных гуманитарных дисциплинах, но не в понимании истории, литературы, искусства как целостных явлений). В начале 60-х годов, во время увлечения структурализмом, я попытался приблизиться к точным методам – и увидел, что во всем, дающем смысл жизни, они беспомощны и более того – лживы, создавая иллюзию понимания там, где понимания нет.

Чем больше мы анализируем целое, тем дальше мы от него уходим. Целостность Бога, личности, поэтического образа открывается только сознанию, совершенно осовободившемуся от эго и его рассуждений. Знамение времени – популярность Энтони де Мелло, писавшего, что философия – это болезнь, от которой излечивает просветление, и тогда языком истины становятся притчи – и молчание. Исходные тексты, на которые опираются великие цивилизации, метафоричны и требуют разъяснения. Но с каждым шагом разъяснения мы что-то теряем, и высшим источником истины остаются самые простые: гимны Ригведы, притчи Евангелия. Заканчивая анализ «Короля Лира», мой учитель, Леонид Ефимович Панский, сказал мне: «Единственным адекватным суждением о «Короле Лире» остается «Король Лир» Шекспира».

Из всех способов толкования загадочных текстов, в которых как-то запечатлен внутренний стержень личности, внутренний стержень культуры, лучший способ – старомодное вчувствование и сопереживание (*Einführung und Nacherleben*), субъективность, доведенная до бердяевской транссубъективности, или – используя язык Востока – до выхода за

двойственность субъекта и объекта и всякой двойственности. На этом пути толкования могут раскрывать метафоры, не разрушая их. И все же образы, подводящие к почве, которая внутри нас, тем ближе к ней, чем меньше они отягощены разъяснениями. И Мышкин ближе к ней, чем Алеша, в создании которого чувствуются некоторые богословские предпосылки. И творчество Достоевского, в его первозданной близости к хаосу, к структуре вихря, грозящего опрокинуть читателя, дает один из самых мощных толчков к восстановлению нашей внутренней почвы, нашего внутреннего стержня, не успевшего окрепнуть в детстве и сломленного в школьные годы. Этот импульс мощнее, чем все попытки разъяснить Достоевского. При всей необходимости подобных попыток.

Если рассматривать князя Мышкина или Джона Кофи как существа из плоти и крови, то они нежизнеспособны. Мышкин слишком хрупок, и относительное равновесие, которого он достиг, – только просвет между безумием и безумием. Джон Кофи устает от своей сверхпроницательности, устает смотреть в глаза уродству жизни и не хочет спастись от смерти. Но культуре нужны их образы, так же как нужен Дон Кихот Ламанчский, влюбленный в свою Дульцинею. Culture, зашедшей в духовный тупик, нужны противовесы, нужны гиперболы главного ума, торжествующего над здравым смыслом. Нужны – чтобы точно действующий разум не стал убийцей культуры.